

Ганс Гейнц Эверс

Из дневника померанцевого дерева

Волшебников, волшебниц в мире много...
Они средь нас, но мы не знаем их.
Ariocoto. Неистовый Роланд, песнь VIII, I

Если я иду навстречу вашему желанию, уважаемый доктор, и заполняю страницы той тетради, которую вы мне дали, - то поверьте, что я делаю это по зрелом размышлении и с достаточно продуманным намерением. Ведь, в сущности, дело идет о своего рода борьбе между вами и мной: вами, главным врачом этой частной лечебницы для душевнобольных, и мною, пациентом, которого три дня тому назад привезли сюда. Обвинение, на основании которого я подвергнут насильственному приводу сюда - простите, что я в качестве студента-юриста предпочитаю употреблять юридические термины, - заключается в том, что будто бы я "страдаю навязчивой идеей, что я померанцевое дерево". Итак, господин доктор, попытайтесь теперь доказать, что это - навязчивая идея, а не действительный факт. Если вам удастся убедить меня в этом вашем мнении, то я "выздоровею", не правда ли? Если вы докажете мне, что я - человек, как и все другие, и только вследствие расстройства нервной системы подпал болезненной мономании, подобно тысячам больных во всех санаториях мира, то, доказав это, вы вернете меня снова в мир живых людей, и "нервная болезнь" будет устранена вами с моего пути.

Но, с другой стороны, я, в качестве обвиняемого, имею право приводить доказательства своей собственной правоты. В этих строках я именно и ставлю своей задачей убедить вас, уважаемый доктор, в неоспоримости моих утверждений.

Вы видите, что я рассуждаю совершенно трезво и спокойно взвешиваю каждое слово. Я искренне сожалею о тех выходках, которые я позволил себе третьего дня. Меня чрезвычайно огорчает, что я своим нелепым поведением нарушил покой вашего дома. Вы, кажется, приписываете такое поведение моему предыдущему возбуждению? Но я думаю, уважаемый доктор, что если бы вас или иного здорового человека внезапно хитростью привезли в сумасшедший дом, то и вы и он вели бы себя немногим лучше. Долгое собеседование, которое вы вели со мной вчера вечером, однако, совершенно успокоило меня; я теперь сознаю, что мои родственники и товарищи по университету, поместив меня сюда, желали мне исключительно только добра. И не только "желали", но я думаю, что это и в самом деле добро для меня. Ведь если мне удастся убедить в справедливости моих положений такого европейски знаменитого психиатра, как вы, то тогда и самый величайший скептик должен преклониться перед так называемым "чудом".

Вы просили меня изложить в этой тетради возможно полную биографию моей персоны, а также и все мои мысли по поводу того, что вы называете моей "навязчивой идеей". Я очень хорошо понимаю, хотя вы этого и не высказали, что вам, как верному своему долгу служителю науки, было бы желательно получить "из уст самого больного возможно более полную картину болезни"... Но я хочу исполнить все ваши желания, вплоть до самых мельчайших, в надежде на то, что впоследствии, убедившись в своей ошибке, вы облегчите мне мое превращение в дерево - превращение, принимающее с каждым часом все более и более реальные формы.

В моих бумагах, которые сейчас находятся у вас, вы, уважаемый доктор, найдете обстоятельный *curriculum vitae*, приложенный к моему университетскому свидетельству. Из него вы можете почерпнуть все биографические данные, и поэтому сейчас я буду в этом отношении краток. Из упомянутого документа вы узнаете, что я сын рейнского фабриканта. На восемнадцатом году я выдержал экзамен зрелости, затем служил вольноопределяющимся в гвардейском полку в Берлине, а после того наслаждался юной жизнью в разных университетских городах в качестве студента юридического факультета. В зависимости от

этого я проделал несколько больших и маленьких путешествий и наконец остановился в Бонне, где и стал готовиться к докторскому экзамену.

Все это, уважаемый доктор, представляет для вас так же мало интереса, как и для меня. История же, которая нас интересует, начинается с 22 февраля прошлого года. В этот день я познакомился на одном масленичном балу с волшебницей (я боюсь показаться смешным, употребляя это выражение!), которая превратила меня в померанцевое дерево.

Необходимо сказать несколько слов об этой даме. Госпожа, Эми Стенгоп была необыкновенным явлением. Она привлекала к себе всеобщее внимание. Я отказываюсь описывать ее красоту, потому что вы можете высмеять подобное описание, сделанное влюбленным в нее человеком, и счесть его жесточайшим преувеличением. Но вот вам факт: среди моих друзей и знакомых не было ни одного, которого она не приворожила бы к себе в одно мгновение и который не был бы счастлив от одного ее слова или улыбки.

Госпожа Эми Стенгоп поселилась в Бонне сравнительно недавно. Она жила, тогда на Кобленцштрассе, в обширной вилле, которую убрала и обставила с величайшим вкусом. Она вела открытую жизнь, и у нее каждый вечер собирались офицеры королевского гусарского полка и представители наиболее выдающихся студенческих корпораций. Правда, у нее никогда не бывало ни одной дамы, но я убежден, что это происходило только потому, что Эми Стенгоп, как она в том неоднократно признавалась, не выносила женской болтовни. Равным образом, она не бывала ни в одном боннском семействе.

Понятно, что городские сплетники и сплетницы в самом непродолжительном времени занялись блестящей незнакомкой, которая каждый день каталась по улицам на своем белом, как снег, "64 HP. Mercedes". Вскоре стали передаваться из уст в уста самые невероятные слухи о ночных оргиях на Кобленцштрассе. Местная клерикальная газетишка даже напечатала идиотскую статью под заглавием "Современная Мессалина", и уже первые слова этой статьи: "Quosque tandem!" - свидетельствовали о "высоком образовании" господина редактора... Но я должен удостоверить - и я убежден, что это же сделают и все те, кто имел честь быть принятым у госпожи Стенгоп, - что в ее доме никогда не происходило ничего такого, что выходило бы из самых строжайших общественных приличий. Единственно, что она разрешала своим поклонникам - и притом всем - это целовать у нее руку. И только один маленький гусарский полковник имел привилегию прикладываться своими воинственными усами к ее белой ручке немного повыше, чем все остальные. Госпожа Эми Стенгоп держала всех нас в таком строгом послушании, что мы служили ей, как маленькие благодетельные пажи, и наше ухаживанье принимало почти рыцарски-романтические формы.

И тем не менее случилось, что дом ее опустел. Произошло это в высшей степени внезапно. 16-го мая я уехал домой ко дню рождения моей матери. А когда я возвратился, то, к удивлению, узнал, что по приказу полковника дальнейшее посещение виллы на Кобленцштрассе господам офицерам гусарского полка строжайше воспрещено. Корпорации, со своей стороны, немедленно последовали тому же примеру. Я спрашивал товарищей по корпорации, что это значит, и получил в ответ, что полковой приказ обязателен и для них, так как невозможно, чтобы студенты-корпоранты посещали дом, которого избегает офицерство. В сущности, это имело известный смысл, так как большинство корпорантов собиралось служить в этом полку вольноопределяющимися или же принадлежало к нему в качестве офицеров запаса.

На каком основании полковник сделал свое распоряжение, никто не знал. Даже офицерам это не было известно. Подозревали, однако, что приказ полковника стоит в связи с внезапным исчезновением лейтенанта барона Болэна, который скрылся куда-то - тоже по совершенно неизвестной причине.

Так как Гарри фон Болэн был мне лично близок, то я в тот же вечер отправился в казино, где собирались гусары, чтобы узнать какие-нибудь подробности. Полковник принял меня очень любезно и пригласил выпить с ним шампанское, но от разговора на интересовавшую меня тему отклонился. Когда я, наконец, поставил ему вопрос ребром, он очень вежливо, но вполне категорически отклонил его. Я сделал последнюю попытку и

сказал:

- Господин полковник, ваши распоряжения и постановления нашего корпорационного совета, несомненно, обязательны для ваших офицеров и для корпорантов. Но для меня они необязательны: я хочу сегодня же выйти из корпорации и таким образом становлюсь хозяином своих поступков.

- Поступайте, как вам угодно! - небрежно промолвил полковник.

- Прошу вас, полковник, терпеливо выслушать меня! - продолжал я. Кому-нибудь иному, быть может, и не было особенно тяжело покинуть дом на Кобленцерштрассе: он вспомнит с легким сожалением о прекрасных вечерах и в конце концов позабудет о них. Но я...

Он прервал меня:

- Молодой человек! Вы четвертый обращаетесь ко мне с подобной речью. Двое моих лейтенантов и один ваш корпорант еще третьего дня были у меня. Я уволил обоих лейтенантов в отпуск, и они уже уехали. Вашему корпоранту я посоветовал сделать то же. Ничего другого я не могу сказать и вам. Вы должны забыть. Слышите вы это. Достаточно одной жертвы.

- В таком случае разъясните мне все это по крайней мере, - настаивал я, - ведь я ничего не знаю и нигде ничего не могу узнать. Имеет связь с вашим приказом исчезновение Болэна?

- Да! - промолвил полковник.

- Что случилось с ним?

- Этого я не знаю! - ответил он. - И я боюсь, что я никогда не узнаю этого.

Я схватил его руки.

- Скажите мне то, что вы знаете! - умолял я. И я почувствовал, что в моем голосе задрожала нотка, которая должна была, побудить его к ответу. Ради Бога, скажите мне, что случилось с Болэном? Из-за чего вы сделали ваше распоряжение?

Он высвободился от меня и сказал:

- Черт возьми, с вами дело обстоит в самом деле еще хуже, чем с другими!

Он наполнил оба стакана и подвинул мне мой.

- Пейте! Пейте! - сказал он.

Я отпил и подвинулся к нему.

- Скажите-ка мне, - промолвил он, зорко поглядев на меня, - это вы тогда читали ей стихотворения?

- Да, - запнулся я, - но...

- В то время я почти завидовал вам, - задумчиво продолжал, он. - Наша фея позволила вам два раза поцеловать ей руку... Это были ваши собственные стихи? В них было столько всяческих цветов...

- Да, я сочинил эти стихи, - сознался я.

- Это было совершенное безумие! - сказал он как бы сам себе. - Извините меня, - громко продолжал он, - я ничего не понимаю в стихотворениях, решительно ничего. Может быть, они были и прекрасны. Фея нашла же их прекрасными...

- Господин полковник, - заметил я, - что значат теперь мои стихотворения... Вы хотели...

- Я хотел рассказать вам нечто иное, совершенно иное, - прервал он меня, - но именно по поводу всех этих цветов. Говорят, что люди, сочиняющие стихи, все мечтатели. Я подозреваю, что этот бедняга Болэн тоже сочинял тайным образом стихи.

- Итак, что же с Болэном? - настаивал я.

Он как будто не слышал моего вопроса.

- А мечтатели, - продолжал он нить своих мыслей, - а мечтатели, очевидно, подчиняются ей всего легче. Я предостерегаю вас, милостивый государь, самым настоящим образом, как только могу!

Он выпрямился.

- Итак, слушайте же! - проговорил он совершенно серьезно. - Семь дней тому назад

лейтенант Болэн не явился на службу. Я послал за ним на дом - он исчез. С помощью полиции и прокурора мы пустились на поиски. Мы сделали все, что можно, но без всякого успеха. И несмотря на то что с момента его исчезновения прошло еще очень немного времени, я убежден в совершенной бесплодности всех дальнейших попыток. Никаких внешних причин здесь не имеется. Болэн имел хорошее состояние, не имел долгов, был совершенно здоров и очень счастлив по службе. Он оставил коротенькое письмо на мое имя, но содержание этого письма во всех его подробностях я сообщить вам не могу.

Меня охватило безграничное разочарование, отразившееся, должно быть, на моем лице.

- Погодите, - продолжал полковник, - надеюсь, что вам будет достаточно и того, что я вам скажу. По крайней мере, достаточно для того, чтобы спасти вас... Я думаю, что лейтенант Болэн умер... что он наложил на себя руки в помрачении рассудка.

- Он пишет об этом? - спросил я.

Полковник покачал головой.

- Нет! - ответил он. - Ни слова. Он пишет только одно: "Я исчезаю. Я уже не человек более. Я - миртовое дерево".

- Что? - переспросил я.

- Да, - промолвил полковник, - миртовое дерево. Он думает, что волшебница - госпожа Эми Стенгоп - превратила его в миртовое дерево.

- Но ведь это глупый бред! - воскликнул я.

Полковник снова устремил на меня пытливый и сострадательный взгляд.

- Бред? - повторил он. - Вы называете это бредом? Это можно также назвать и безумием. Но как-никак, а наш бедный товарищ свихнулся на этом. Он вообразил, что его околдовали. Но разве все мы не были немножко околдованы прекрасной дамой? Разве я, старый осел, не вертелся вокруг нее, как школьник? Я скажу вам, что на меня каждый вечер нападало страстное желание пойти на ее виллу, чтобы приложиться своими седыми усами к ее мягкой ручке. И я видел, что и с моими офицерами творится то же самое. Обер-лейтенант, граф Арко, которого я третьего дня отправил в отпуск, признался мне, что он пять часов скитался взад и вперед под ее окнами при луне. И я боюсь, что он был не единственный в этом роде. Теперь я с юмором висельника сражаюсь с моими сокровенными желаниями, каждую ночь остаюсь в казино до самых поздних часов и подаю хороший пример другим... Уверяю вас, что никогда еще не было у нас так много выпито шампанского, как в эту неделю... Но оно не идет впрок никому... Пейте. Пейте же! Бахус - враг Венеры.

Он снова налил бокалы доверху и продолжал:

- Итак, вы видите, молодой человек, уж если такой прозаический человек, как я, не мог отказаться от посещений Кобленцштрассе, уж если такой избалованный дамский герой, как Арко, предавался уединенным лунным прогулкам, то не имел ли я основания бояться, что случай с Болэном не останется единственным? Благодарю покорно... Чего доброго, весь мой офицерский корпус превратился бы в миртовый лес...

- Благодарю вас, господин полковник! - промолвил я. - Со своей стороны вы поступили безукоризненно правильно.

Он рассмеялся.

- Вы очень любезны. Но вы еще более обязали бы меня, если бы последовали моему совету. Я был старшим среди вас и даже, так сказать, предводителем во время наших шабашей на Кобленцштрассе, и теперь у меня такое чувство, как будто я ответствен не только за моих офицеров, но и за всех вас. У меня есть предчувствие - не более, как простое предчувствие, но я не могу от него отделаться: я убежден, что от прекрасной дамы следует ожидать еще несчастий... Называйте меня старым дураком, болваном, но обещайте мне никогда более не переступать порога ее дома!

Он сказал это так серьезно и проникновенно, что я внезапно почувствовал странный страх.

- Да, господин полковник, - произнес я.

- Самое лучшее, если вы отправитесь месяца на два путешествовать, как это сделали

другие. Арко с вашим корпорантом уехал в Париж; отправляйтесь и вы туда же. Это вас рассеет. Вы позабудете волшебницу.

Я проговорил:

- Хорошо, господин полковник.

- Вашу руку! - воскликнул он.

Я протянул ему свою руку, и он крепко потряс ее.

- Я сейчас же уложу вещи и с ночным поездом выеду, - сказал я твердым тоном.

- Отлично! - воскликнул он и написал несколько слов на визитной карточке. - Вот название отеля, в котором остановились Арко и ваш друг. Кланяйтесь им обоим от меня, забавляйтесь, ругайте меня немножко, но все-таки потом опять навестите меня, но только уже без этой мрачной усмешки.

Он провел пальцем по моей губе, как бы желая разгладить ее.

Я тотчас же отправился домой с твердым намерением сесть через три часа в поезд. Мои чемоданы стояли еще, не распакованными. Я вынул кое-какие вещи и уложил их в дорогу. Затем я сел за письменный стол и написал ему короткое письмо, в котором сообщал о своем путешествии и просил выслать мне денег в Париж. Когда я стал искать конверт, мой взгляд упал на тоненькую пачку писем и карточек, полученных за время моего отсутствия. Я подумал: "Пускай остаются. Приеду из Парижа - прочитаю". Однако я протянул к ним руку и опять отдернул ее. "Нет, я не хочу читать их!" - сказал я. Я вынул из кармана монету и задумал: "Если будет орел, я их прочитаю". Я бросил монету на стол, и она упала орлом вниз. "И прекрасно! - сказал я. - Я не буду их читать". Но в то же мгновение я рассердился на себя за все эти глупости и взял письма. Это были счета, приглашения, маленькие поручения, а затем фиолетовый конверт, на котором крупным прямым почерком было написано мое имя. Я тотчас же понял - поэтому-то и не хотел разбирать письма! Я испытующе взвесил конверт в руке, но все равно уже чувствовал, что должен прочесть его. Я никогда не видел ее почерка и, тем не менее знал, что письмо от нее. И внезапно я проговорил вполголоса:

- Начинается...

Я не подумал ничего другого при этом. Я не знал, что именно начинается, но мне стало страшно.

Я разорвал конверт и прочитал:

"Мой друг!

Не забудьте принести сегодня вечером померанцевых цветов.

Эми Стенгоп".

Письмо было послано десять дней тому назад, в тот день, когда я поехал домой. Вечером, накануне отъезда, я рассказывал ей, что видел в оранжерее у одного садовника распустившиеся померанцевые цветы, и она выразила желание иметь их. На другой день утром, перед тем как уехать, я заходил к садовнику и поручил ему послать ей цветы вместе с моей карточкой.

Я спокойно прочел письмо и положил его в карман. Письмо к отцу я разорвал.

У меня не было ни одной мысли о том обещании, которое я дал полковнику.

Я взглянул на часы: половина десятого. Это было время, когда она начинала прием верноподданных. Я послал за каретой и вышел из дома.

Я поехал к садовнику и приказал нарезать цветов. А затем я, наконец, был у подъезда ее виллы.

Я попросил доложить о себе, и горничная провела меня в маленький салон. Я опустился на диван и стал гладить мягкую шкуру гуанако, которая здесь лежала.

И вот волшебница вошла в длинном желтом вечернем платье. Черные волосы ниспадали с гладко причесанного темени и закручивались наверху в маленькую коронку, какую носили женщины, которых изображал Лука Кранах. Она была немного бледна. В ее глазах мерцал фиолетовый отблеск. "Это потому, что она в желтом!.." - подумал я.

- Я уезжал, - сказал я, - домой ко дню рождения моей матери. И вернулся только несколько часов тому назад сегодня вечером.

Она на мгновение удивилась.

- Только сегодня вечером? - повторила она. - Так, значит, вы не знаете... - она прервала себя. - Но нет, разумеется, вы знаете. В два-три часа вам уже все рассказали.

Она улыбнулась. Я молчал и перебирал цветы.

- Разумеется, вам все сказали, - продолжала она, - и вы все-таки нашли дорогу сюда. Благодарю вас.

Она протянула руку, и я поцеловал ее.

И тогда она сказала очень тихо:

- Я ведь знала, что вы должны прийти.

Я выпрямился.

- Сударыня! - сказал я. - Я нашел по моем возвращении ваше письмо. И я поспешил принести вам цветы.

Она улыбнулась.

- Не лгите! - воскликнула она. - Вы прекрасно знаете, что я послала вам письмо уже десять дней тому назад, и вы тогда же послали мне цветы.

Она взяла из моей руки ветку и поднесла ее к своему лицу.

- Померанцевые цветы, померанцевые цветы! - медленно промолвила она. Как дивно они пахнут!

Она пристально посмотрела на меня и продолжала:

- Вам не нужно было никакого предлога, чтобы прийти сюда. Вы пришли потому, что должны были прийти. Не правда ли?

Я поклонился.

- Садитесь, мой друг, - промолвила Эми Стенгоп. - Мы будем пить чай.

Она позвонила.

Поверьте мне, уважаемый доктор, я мог бы обстоятельно описать вам каждый вечер из тех многочисленных вечеров, которые я провел с Эми Стенгоп. Я мог бы передать вам слово за словом все наши разговоры. Все это внедрилось в мое сознание, словно руда. Я не могу забыть ни одного движения ее руки, ни малейшей игры ее темных глаз. Но я хочу восстановить лишь те подробности, которые являются существенными для желаемой вами картины.

Однажды Эми Стенгоп сказала мне:

- Вы знаете, что случилось с Гарри Болэном?

Я ответил:

- Я знаю только то, что об этом говорят.

Она спросила:

- Вы верите, что я в самом деле превратила его в миртовое дерево?

Я поймал ее руку, чтобы поцеловать.

- Если вы этого хотите, - рассмеялся я, - то я охотно поверю в это.

Но она отняла руку. Она заговорила, и в ее голосе зазвучала такая уверенность, что я вздрогнул:

- Я верю в это.

Она выразила желание, чтобы я каждый вечер приносил ей померанцевые цветы. Однажды, когда я вручил ей свежий букет белых цветов, она прошептала:

- Астольф.

Затем промолвила громко:

- Да, я буду называть вас Астольфом. И если вы желаете, вы можете звать меня Альциной.

Я знаю, уважаемый доктор, как мало досуга имеет наше время, чтобы заниматься старинными легендами и историями. Поэтому оба эти имени, наверное, не скажут вам ровно ничего; между тем мне они в одно мгновение открыли близость ужасного и вместе с тем сладкого чуда. Если бы вы познакомились с Людовико Ариосто, если бы вы прочитали кое-какие героические сказания пятнадцатого века, то прекрасная фея Альцина оказалась бы

для вас такой же старой знакомой, как и для меня. Она ловила в свои сети Астольфа английского, мощного Рюдигера, Рейнольда Монтальбанского, рыцаря Баярда и многих других героев и паладинов. И она имела обыкновение превращать надоедавших ей возлюбленных в деревья.

...Она положила обе руки мне на плечи и посмотрела на меня:

- Если бы я была Альциной, - сказала она, - хотел бы ты быть ее Астольфом?

Я не сказал ничего, но мои глаза ответили ей. И тогда она промолвила:

- Приди!

Вы - психиатр, уважаемый доктор, и я знаю, что вы признанный авторитет. Я встречал ваше имя во всевозможных изданиях. О вас говорят, что вы внесли в науку новые мысли. Я думаю нынче, что человек сам по себе, один, никогда не создает так называемой новой мысли, но что таковая возникает в одно и то же время в самых различных мозгах. Но тем не менее я питаю надежду, что ваши новые мысли относительно человеческой психики, может быть, совпадут с моими. И вот это чувство и побуждает меня относиться к вам с таким безграничным доверием.

Не правда ли, мысль ведь это примитив, начало всякого начала? Ведь она единственное, что истинно! Детски наивно понимать материю, как нечто действительное. Все, что я вижу, постигаю, усваиваю - даже с помощью несовершенных вспомогательных средств, - я познаю как нечто совсем иное, чем если я исследую его своими личными чувствами. Капля воды кажется моим жалким человеческим глазам маленьким, светлым, прозрачным шариком. Но микроскоп, которым даже дети пользуются для забав, учит меня, что это арена диких побоищ инфузорий. Это уже более высокое воззрение, но не высочайшее. Ибо нет никакого сомнения, что через тысячу лет наши - даже самые блестящие и совершенные - научные вспомогательные средства будут казаться такими же смешными, какими кажутся нам теперь инструменты Эскулапа. Таким образом, то познание, которым я обязан чудесным научным инструментам, столь же малодейственно, как и воспринятое моими бедными чувствами. Материя всегда оказывается чем-то иным, чем я ее представляю. И я не только никогда не могу узнать вполне сущности материи, но она вообще не имеет никакого бытия. Если я брызгаю водой на раскаленную печку - вода в одно мгновение превращается в пар. Если я бросаю кусок сахара в чай - сахар растворяется. Я разбиваю чашку, из которой пью, - и я получаю осколки, но чашки уже не существует более. Но если бытие одним взмахом руки превращается в небытие, то не стоит труда и считать его бытием. Небытие, смерть - вот настоящая сущность материи. Жизнь есть лишь отрицание этой сущности на бесконечно малый промежуток времени. Но мысль капли или кусочка сахара остается непреходящей: ее нельзя разбить, расплавить, превратить в пар. Итак, не с большим ли правом следует считать действительностью эту мысль, чем изменяемую, преходящую материю?

Что касается далее нас, людей, уважаемый доктор, то и мы, конечно, такая же материя, как и все окружающее нас. Каждый химик легко скажет, из скольких процентов кислорода, азота, водорода и т. д. мы состоим. Но если в нас обнаруживается мысль, то какое право имеем мы утверждать, что она не должна обнаруживаться в другой материи?

Я постоянно употребляю выражение "мысль". Это делаю я на том основании, уважаемый доктор, что слово это мне лично кажется наиболее подходящим для того понятия, которое я имею в виду. Подобно тому, как в различных языках существуют различнейшие слова для определения одного и того же предмета, подобно тому, как одну и ту же часть лица итальянец называет "Босса", англичанин "mouth", француз "bouche", немец "Mund", точно так же и различные науки и искусства имеют особые выражения для одного и того же понятия. То, что я называю "мыслью", теософ мог бы назвать "божеством", мистик - "душою", врач - "сознанием". Вы, уважаемый доктор, вероятно, избрали бы слово "психика". Но вы должны согласиться со мной, что это понятие, как его ни называй, представляет собою нечто первичное, единственно истинное.

Но если это безграничное понятие, которое имеет все свойства, приписываемые

теологами Божеству, т.е. бесконечность, вечность и т.д., открывается в нашем мозгу, то почему не разрешить ему проявляться и в других предметах с таким же удобством? По крайней мере я могу представить гораздо более приятное местопребывание для него, чем мозг многих людей.

Все это, в общем, не есть что-либо новое. Ведь верили же миллиарды людей во все времена (да и теперь еще верят), что животные тоже имеют душу. Учение Будды, например, признает даже переселение душ. Что же мешает нам сделать еще один шаг далее и признать душу у источников, деревьев, скал, как это делалось (хотя, быть может, только из эстетически-поэтических оснований) в древней Элладе? Я верю, что пришло время, когда человеческий разум доходит до такой степени развития, что становится способным познавать души иных органических существ.

Я уже говорил вам о моих стихотворениях, которые я читал Эми Стенгоп и которые полковник назвал "ужасным безумством". Может быть, они в самом деле заслуживают такого определения - я не могу судить об этом. Но так или иначе они представляют собою попытку - правда, очень слабую - изобразить человеческим языком души некоторых растений.

Отчего эвкалиптовое дерево внушает художнику мысль о голых женских руках, распростертых для страстного объятия? Почему асфоделии невольно напоминают нам о смерти? Почему глицинии вызывают у нас образ белокурой дочери пастора, а орхидеи наводят на мысль о черных мессах и дьявольских шабашах?

Потому что в каждом из этих цветов и деревьев живет мысль об этом.

Неужели вы считаете простым совпадением, что у всех народов мира роза служит символом любви, а фиалка олицетворяет скромность? Есть сотни маленьких душистых цветов, которые цветут так же скромно и так же прячутся в укромных местах, как фиалка, однако ни один из них не производит на нас такого впечатления. Сорвав фиалку, мы непременно сейчас же инстинктивно подумаем: скромность! И следует заметить, что это странное ощущение исходит вовсе не от того, что мы считаем характернейшим для данного цветка: не от ее запаха. Если мы возьмем флакон "Vera violetta", запах которого так обманчив, что в темноте мы не сможем отличить его от запаха букета фиалок, мы никогда не получим этого ощущения.

Равным образом чувство, которое мы испытываем близ цветущего каштанового дерева и которое вызывает в нас мысль о всепобеждающей мужественности, не стоит ни в какой связи с тем, что прежде всего привлекает наш взор: с мощным стволом, широкими листьями, тысячами сверкающих цветов. И мы должны прийти к убеждению, что здесь все дело в неуловимом дыхании дерева. Это дыхание и открывает нам мысль, т.е. душу дерева.

Понятие, которое я называю "мыслью", очевидно, может принимать все формы и образы. Один тот факт, что я или кто-либо другой может сознавать это, уже служит достаточным доказательством того.

Ибо так как мысль вообще не знает никаких границ, то материя не может представлять для нее никаких ограничений. Ни один вдумчивый человек не может нынче игнорировать истин монистического мировоззрения (которые, конечно, лишь относительно, как и всякие другие истины). Согласно этому мировоззрению, мы, люди, как материя, ничем не отличаемся от всякой другой материи. И если я должен допустить это и если, с другой стороны, бытие мысли (бытие в собственном, мощном значении этого слова) понуждает меня в каждое мгновение к самосознанию, то я могу прийти к одному только выводу, подтверждаемому тысячами примеров, а именно, что "мысль" может одухотворять не только людей, но и всякую другую материю, а значит - также и цветы, и листья, и ствол померанцевого дерева.

Учение веры, принятое культурными народами, для многих е философов заключается лишь в своих начальных словах: "В начале было Слово". И все они запинаятся за это и никогда не смогут переступить этот таинственный "Logos", пока в один прекрасный день он не откроется в чьей-нибудь голове во всей своей величине...

Но неправильно думать, как думают мистики и вообще люди, верующие в такое откровение "Логоса", что откровение это придет внезапно, как молния. Оно придет, и оно уже приходит, медленно, шаг за шагом, как выступает из облаков солнце, как развивается из первичной амебы человек. Оно бесконечно и никогда не закончится и поэтому оно никогда не будет совершенно...

Не проходит ни одного часа, ни одной секунды, в течение которых мысль не открывалась бы полнее и величественнее, чем до этого. Все более и более познаем мы это понятие, которое есть все.

И вот одна такая - большая, чем у кого-либо иного - степень познания стала свойственна и моему мозгу. О, я вовсе не воображаю, что я единственный человек в этом роде... Я уже сказал вам, доктор: я не верю, чтобы мысль оплодотворяла только один какой-нибудь мозг. Но у большинства семена духа засыхают, и только у немногих они вырастают и дают цвет.

Однажды женщина, которую я называл Альциной, покрыла все наше ложе апельсиновыми цветами. Она обняла меня, и тонкие ноздри ее носа, которые она прижала к моей шее, задрожали.

- Мой друг, - сказала она, - ты благоухаешь, как цветы.

Я рассмеялся. Я подумал, что она шутит. Но позднее я убедился, что она права.

Однажды днем женщина, у которой я жил, вошла в мою комнату. Она потянула в себя воздух и сказала:

- О, как хорошо пахнет! У вас тут опять померанцевые цветы?

Но я уже в течение нескольких дней не имел ни одного цветка в комнате.

Я сказал сам себе: мы оба можем ошибаться. Человеческий нос - слишком плохо развитый орган.

Но моя охотничья собака никогда не ошибается. Ее нос непогрешим.

И я сделал опыт: я заставлял мою собаку приносить мне в саду и в комнате померанцевую ветку. Затем я тщательно прятал ветку и учил собаку отыскивать ее по команде: "Ищи цветы!" И она всегда находила ветку даже в самых сокровенных местах.

Я переждал после того несколько дней, в течение которых в моей комнате не было ни одного цветка. И после того однажды утром я отправился с собакой в купальню. Выкупавшись и выйдя из воды, я крикнул ей:

- Али! Апорт! Ищи цветы!

Собака подняла голову, понюхала воздух кругом и без всякого колебания устремилась прямо на меня. Я пошел в раздевальную кабинку и дал ей понюхать мое платье, которое, быть может, сохраняло некоторый запах. Но собака едва обратила на него внимание. Она снова стала обнюхивать меня: запах, который она искала и нашла, исходил от моего тела.

Итак, уважаемый доктор, если такая история случилась с собакой, обладающей высокоразвитым органом, то неудивительно, что и вы впали в ту же ошибку, когда вы заподозрили меня, что я держу у себя цветы. После того как вы вчера вечером вышли от меня, я слышал, как вы приказали служителю тщательно обыскать мою комнату, когда я буду на прогулке, и убрать из нее померанцевые цветы. Я не ставлю вам этого в упрек. Вы думали, что я прячу у себя эти цветы, и сочли своим долгом удалить от меня все то, что напоминает мне о моей "idee fixe". Но вы могли бы, доктор, не отдавать слуге вашего приказания: он может целыми часами рыться в моей комнате, но он не найдет в ней ни одного цветка. Но если вы после того снова зайдете ко мне, вы опять услышите этот запах: он исходит от моего тела...

Однажды мне приснилось, будто я иду в полдень по обширному саду. Я прохожу мимо круглого фонтана, мимо полуразрушенных мраморных колонн. И иду далее по ровным, длинным лужайкам. И вот я увидел дерево, которое сверху донизу сверкало красными, как кровь, пылающими померанцами. И я понял тогда, что это дерево - я.

Легкий ветер играл моею листвою, и в бесконечном желании простирали свои ветви, обремененные плодами. По белой песчаной дорожке шла высокая дама в широком желтом

одеянии. Из ее глубоких темно-синих очей упали на меня ласкающие взоры.

Я прошелестел ей своей густой листвою:

- Сорви мои плоды, Альцина!

Она поняла этот язык и подняла белую руку. И сорвала ветку с пятью-шестью золотыми плодами.

Это была легкая, сладкая боль. Я проснулся от нее.

Я увидел ее около себя: она склонилась передо мной на колени. Ее глаза странно глядели на меня.

- Что ты делаешь? - спросил я.

- Тише! - прошептала она. - Я подслушиваю твои грезы.

Как-то раз после обеда мы переехали на ту сторону Рейна и прошли от Драхенфельза вниз, к монастырю Гейстербах. Среди руин, где гнездились совы, она легла на траву. Я сел рядом с нею; я пил полными глотками аромат цветущей липы, вздымая грудь и широко раскинув руки.

- Да! - сказала она и закрыла глаза осененные длинными ресницами. - Да, раскинь свои ветки! Как хорошо покоиться здесь в твоей прохладной тени!

И она стала рассказывать...

О, целые ночи напролет она рассказывала мне. Старинные саги, сказки, истории. При этом она всегда закрывала глаза. Ее тонкие губы слегка приоткрывались, и, как звон серебряных колокольчиков, падали жемчужными каплями слова из ее уст:

- Ты похитил у меня мой пояс! - сказала Флерделис своему рыцарю.- Так принеси мне другой, который был бы достоин меня.

Тогда оседлал белокурый Гриф своего коня и понесся во все страны света, чтобы добыть для своей повелительницы пояс. Он бился с великанами и рыцарями, с ведьмами и некромантами и отвоевал великолепнейший пояс. Но он бросил его в пыль, на колена нищим и воскликнул, что это жалкая тряпка недостойна украшать чресла его дамы. И когда он отнял у могучего Родомонта собственный пояс Венеры, он разорвал его в лохмотья и поклялся, что он добудет такой пояс, какого не имели и богини. Он убил волшебника Атласа и завладел его крылатым конем. Сквозь бурю и ветер полетел он на воздух и смелой рукой сорвал с неба Млечный Путь.

Он пришел к госпоже и поцеловал ее белые ноги. И обвил вокруг ее бедер пояс, на котором, словно драгоценные каменья, засияли тысячи тысяч звезд...

- Прочитай мне, что ты написал об орхидеях, - сказала она.

Я прочитал ей:

Когда дьявол женщиной явился,

Когда Лилит

Сплела в тяжелый черный узел кудри

И окружила бледные черты

Кудрявыми местами Боттичелли,

Когда она с улыбкой тихой

На пальцы тонкие свои

Надела кольца с яркими камнями,

Когда она прочла Бурже

И полюбила Гюисманса

И поняла молчанье Метерлинка

И окунула душу

В Аннунцио сверкающие краски,

Тогда она однажды рассмеялась.

.....

И вот, когда она смеялась,

Из уст ее

Прыгнула маленькая царственная змейка.

Прекраснейшая дьяволица,
Красавица Лилит
Ударил змею,
Ударил Лилит змею-царицу
Униженным перстнями пальцем,
Чтобы она вокруг пальца обвилась
И обвивалась и шипела.
Шипела, шипела
И ядом брызнула своим.
И капли яда собрала Лилит
И сохранила в медной тяжелой вазе.
Сырой земли
Черной, мягкой, тучной,
Бросила она туда.
Своими белыми руками
Она коснулась тихо
Тяжелой медной вазы.
Чуть слышно пели бледные уста
Старинное проклятье.
Как песня детская оно звучало
Так тихо, томно, мягко,
Так томно, словно поцелуи,
Которые пила земля сырая
Из уст ее...
И жизнь затеплилась в тяжелой вазе:
Разбужены лобзаньем томным,
Разбужены волшебным пеньем,
Восстали к свету в темной, тяжелой вазе
Орхидеи.....
Та, которую люблю я,
Обрамляет бледное лицо
Перед зеркалом кудрей волнами.
Рядом с ней из тяжелой медной вазы
Выползают, словно змеи,
Орхидеи.
Орхидеи - адские цветы.
Старая земля
Родила их, сочетавшись браком
С ядом змей. Лилит проклятье
Дало им источник жизни,
Родила земля сырая
Орхидеи - адские цветы.
- Прекрасно! - сказала Альцина.

Да, уважаемый доктор, такова была наша жизнь: сказка, сотканная из лучей солнца. Мы вдыхали утраченное прошлое, из наших поцелуев выросло неведомое, неподозреваемое будущее.

И все чище - чистая, как кристалл - звучала гармония наших мечтаний. Однажды она прервала меня в середине стихотворения.

Она сказала:

- Молчи! - и крепко прижала лицо к моей груди.

Я чувствовал, как ее тонкие ноздри трепетали на моем теле. Прошла минута.

Она подняла голову и сказала:

- Тебе нет надобности говорить. Твои мысли благоухают.

Она закрыла глаза - и медленно договорила мои стихи до конца...

...Или же она брала мою голову в руки и ласкала тонкими пальцами мои виски.

Тогда я чувствовал, как ее желания проскальзывают в меня и вступают в ласкающее обладание моей душой.

Как будто сладкая музыка звучала в моих висках, как будто пение танцующих солнечных лучей.

Там, где раскинулись зеленые лужайки, где по мраморным ступеням катятся холодные струи горного потока, где покачиваются среди цветов магнолии яркие фазаны, и грезят в своем уединении белые павлины, - там стоит дерево.

Далеко кругом себя раскинуло оно свои ветки; благоуханием весны и любви напоен кругом него воздух. Белые цветы поднимаются из листьев, и между них сверкают золотые плоды.

Прекрасная фея покоится в прохладной тени. Она рассказывает дереву сказки, и дерево это - ее возлюбленный.

Она говорит, а он шелестит листьями и посылает ей с ветром свой аромат.

Так беседуют они оба.

Так росло во мне познание - медленно, постепенно, как всякое откровение. Так гармонично, что я не мог бы указать ни одной пограничной черты. Те отдельные подробности, которые я только что вам привел, уважаемый доктор, я выбрал из тысячи им подобных. Чудо началось, когда я в первый раз увидел эту женщину... А может быть, оно началось и гораздо ранее. Не должен ли я считать первым легким началом, например, хотя бы те мои мысли, которые я выразил в своих стихотворениях?

Закончится же чудо тогда, когда я буду стоять под открытым небом, в лучах солнца, и буду носить белые цветы и золотые плоды.

А пока - последовательное развитие, шествующее вперед спокойно, сильно, уверенно, не зная никакого сопротивления.

И не только духом, но и телом. Разве я не говорил вам, что все мое тело напоено сладким ароматом? Убедитесь же в этом, уважаемый доктор.

Наступили последние ночи. Однажды она сказала мне:

- Я должна вскоре покинуть тебя.

Я не испугался. Каждая секунда, проведенная с нею, была для меня вечностью, и еще должны беспредельную вечность мои счастливые руки обнимать ее.

Я склонился к ней, и она продолжала:

- Ты знаешь, что случится тогда, Астольф?

Я утвердительно кивнул и спросил:

- Куда ты уедешь?

Две слезы упали на ее щеки. Она выпрямилась, и ее глаза засветились, как созвездия ночи над пустынной степью.

- За море, - сказала она, - туда, откуда я пришла. Но я буду тебе писать. А потом, позднее, когда ты расцветешь, когда легкий ветер будет играть твоими ветками, - тогда я снова приду к тебе. Приду к тебе, возлюбленный, и буду покоиться в твоей тени. Буду отдыхать у тебя, мой возлюбленный, и грезить вместе с тобой нашими сладчайшими грезами...

- Возлюбленный! - сказала она. - Возлюбленный!..

И как зеленые путы плюща обвивают ствол и ветки, так обняла меня она... Вот так...

Вы знаете, доктор, что произошло потом. Придя однажды вечером в виллу, я не мог дозвониться. Она уехала. Ее вилла опустела. Я поставил на ноги всю полицию и сыщиков, бегал все дни, как сумасшедший. Я делал тысячу глупостей, но уверяю вас, доктор, что все это следует отнести просто лишь на счет влюбленного, у которого исчезла, словно по волшебству, его возлюбленная.

Мои товарищи по корпорации очень печалились и заботились обо мне - даже более,

чем это было мне приятно. Это они телеграфировали моим родителям. Затем наступил тот припадок бешенства, который вы назвали "катастрофой" и который, в сущности, был совершенно естественным событием. Мои друзья, следившие после моих вышеупомянутых глупостей за каждым моим шагом, заметили, что я постоянно подкарауливаю почтальона. И когда приходило письмо - ее письмо, - они отбирали его у письмоносца на улице. Теперь я прекрасно знаю, что они делали это с добрым намерением, желая удалить от меня всякий повод к новому возбуждению. Но в то мгновение, когда я увидел из окна, как они отбирают письмо, мои глаза застлало красным светом. Мне показалось осквернением моей святости, что они прикасаются своими руками к бумаге и что их глаза читают слова, которые она написала. Я схватил со стены остро отточенную рапиру и побежал по улице. Я кричал им, чтобы они отдали мне письмо. Они отказались, и тогда я ударил того, который держал письмо, рапирой прямо в лицо. Брызнула кровь и оросила письмо, которое я вырвал у него. Я побежал в свою комнату, заперся и стал читать.

Она писала:

"Если ты меня любишь, то доведешь это до конца. О, я приду, я приду к тебе, возлюбленный. Я буду покоиться в твоей прохладной тени и рассказывать тебе дивные сказки.

Альцина".

Я кончил, уважаемый доктор. Меня доставили сюда хитростью, но теперь я благодарен судьбе, которая привела меня сюда. Все волнения прошли, и я снова нашел в этой удивительной тишине прежний покой. Я пребываю в сладком аромате, который исходит из моего тела, и чувствую и знаю, что я дождусь завершения. Уже мне становится тяжело писать, уважаемый доктор, мои пальцы не хотят сжиматься, они раздвигаются, растопыриваются, как ветви.

Ваше заведение лежит в великолепном обширном парке. Я сегодня утром странствовал по нему. Он так велик, так прекрасен. Я знаю, доктор, что мои слова убедили вас. О, мне удалось, без сомнения, убедить вас... Итак, когда наступит час, который уже так близко, то не пытайтесь помешать тому, что должно исполниться. Там, на большом лугу, где шумят каскады, - там буду я стоять. Я надеюсь, что вы, доктор, распорядитесь, чтобы за мной был хороший уход. Боннский садовник знает, как обращаться с померанцевыми деревьями, он даст вам указания. Я отнюдь не желаю захиреть... Я хочу расти и цвести, чтобы она радовалась и восхищалась моей красотой.

Она будет писать, доктор. Вы узнаете ее адрес.

Еще одно: каждым летом, когда моя верхушка будет сверкать тысячью золотых плодов, будьте добры, доктор, срывайте самые прекрасные из них и кладите в корзиночку. И посылайте ей.

И пусть будет вложена туда записочка с милыми словами, которые я однажды слышал на улице Гренады:

Я сорвал в моем саду
Померанцев спелых, ярких,
Сок их алый - кровь моя.
И тебе, моя голубка,
Померанцев я принес.
Так возьми же их, голубка,
Только их ножом не режь:
Ты мое разрежешь сердце
В середине померанца.
О. Поркеролль. Июнь 1905